

Когда говорю, пишу, думаю о нем, всегда чувствую, как давит, щемит сердце...

Щемит, потому что понимаю, как обделили мы его при жизни своей любовью, своим теплом, дружеским участием.

Щемит, потому что вспоминаю, как бездушно, безжалостно топтала его свора литературных прихвостней, цепных псов аппарата, когда и промолчать, и не представлять журнальных и газетных страниц для разносных статей было вполне по силам — и кресел бы из-под седалищ не вырвали, и почетных пенсий не лишили!

Щемит, потому что уж очень немилосердно обходилась с ним судьбина, — и при всем этом так любить Отчизну, жизнь, свой народ!

... Он крайне редко рассказывал о своей житейской тропе. Разве лишь за чаркой с теми, кого привечал сердцем, чьей дружбой дорожил или когда «цеплял» его бестактным словом, неуместным вопросом какой-нибудь досужий журналист. А больше, когда уходили из жизни один за другим фронтные побратимы, земляки-ленинградцы, полной чашей, как и он, хлебнувшие блокадного лиха.

И о ратной биографии не любил вспоминать. По словечку, по оброненной ненароком реплике будем мы теперь дорисовывать и домысливать облик этого ратоборца северной деревни и Русской земли.

Как-то на встрече с читателями резанул его по сердцу вопрос: везло ли ему в жизни? «Везло, очень везло!» — резко ответил Абрамов. — Повезло участвовать в самых страшных боях сорок первого года. В двух боях — и в каждом по ране. Первый раз — в сентябре. Ранено в руку, сравнительно легко. Второй раз — в ноябре, на полную катушку». Позднее, при случае, рассказал подробнее: «...нашему взводу был дан приказ проделать проходы в проволочных заграждениях... Ну что же, мы поползли, с ножами в руках... Указано было, кому ползти первым, кому за ним следом, и так далее... Я попал во второй десяток, мне повезло. Когда убивало ползущего впереди, можно было укрыться за его телом, на какое-то время... Больше на за что было укрыться. От взвода в живых осталось несколько человек... Мне перебило пулями ноги. Я истекал кровью, потерял сознание. Кто-то вынес меня с поля боя... Мне крупно повезло...

«Везло» ему и дальше.

Лежал раненый, обескровленный, бесчувственный, так бы и замерз. Конец ноября, как-никак, 27-е. Но боец из похоронной команды решил попытаться как раз над ним, пролилось из кружки — дрогнули веки у «мертвеца». Вытащили, отправили в санбат. Оттуда — в «госпиталь» — нетопленную аудиторию исторического факультета родного Ленинградского университета, где лишь полгода назад слушал лекции. Опять повезло: нашлись на их счастье лишние матрасы. Кинули санитары по паре матрасов сверху, не дали замерзнуть.

По апрельскому слабому ладожскому льду, под разрывами снарядов, меж зияющих черными зевами воронок шли машины на Большую землю. Ему повезло еще раз. Две машины, одна впереди, другая сзади, угодили в воронки.

Та, в кузове которой бревно бревном мотался он, чудом проскочила.

«Везло» и дальше. Когда в апреле 1954 года президиумом правления Союза писателей СССР скоропалительно — видно, под диктовку высокопоставленного чиновника — рассматривал вопрос об «ошибках» журнала «Новый мир», в ряд статей, упомянутых в решении как идейно ущербные, идеологически вредные, попали и его заметки «Люди колхозной деревни в после-

банская станица и захудалый российский колхоз из заволжской глубинки тут же выйдут на первые места по хлебопоставкам. Даже если речь о страшной засухе 1946 года...

С чего я это столько слов о старой, забытой всеми, кроме разве историков литературы, статье?

А я не о статье вовсе, я о мужестве абрамовском, о его совестливости. Статью эту и нынешним критикам, нередко любующимся со-

сестры», спектаклями разных театров облетевшей и обехавшей ныне весь мир. За открытое письмо землякам «Чем живем-кормимся» (1979).

Но — везло.

Везло как на именитых дурней, которым было сподручно в борьбе за собственное административное спокойствие дирижировать услужливыми ненавистниками правды, так и на верных и самоотверженных друзей, единомышлен-

выкли катаклизмами роста от просо- того социализма к «развитому» объяснять все, даже свою неосведомленность в делах, которыми занимаются по долгу службы, всю полнейшую некомпетентность, независимость от реального труда тех, кем командуют — она и до нынешних времен, эта отчужденность руководителя и работника от плодов труда своего, сохранилась. И не могут осознать даже иные народные депутаты, что народные интересы и следует держать в уме,

трибуны писательских съездов, когда и противники его, и соратники, вывалившиеся в кулуары, чтобы поддаться, тут же возвращались в зал, если на трибуну поднимался Федор Абрамов.

Он не был склонен думать, что панacea всех болезней, как нас уверяют социологи, — воспитание потребности в честном, самоотверженном труде. Так ли это все просто? — бесконечно задавал себе вопрос и искал на него ответ Федор Абрамов. Но ведь тогда бы «новый» человек не задавал нам новых загадок. И в этом смысле герои романов, рассказов и повестей — продолжение его размышлений.

Вглядимся в них еще и еще раз. Разве не несут они на себе следов времени? Разве их противостоят не подчеркивает писатель более века? Миленьева и Максим («Деревянные кони»), Зинаида и Шура («Однажды осенью»), Пелагея и Алька («Пелагея» и «Алька»), Подрезов и Зарудный, Егорша и Михаил («Братья и сестры»).

Михаил Пряслин особенно глубоко олицетворяет обретения и потери века, особенно полно воплощает и национальный характер. Да, ему свойственна некоторая непоследовательность в поступках, «он в чем-то ограничен», — соглашался писатель. — Но такая уж судьба ему выпала.

Вспомним: отец погиб на фронте, на Михаила, досрочно повзрослевшего, свалились заботы о семье. Они подмяли его, но не сломили. И если бы деревня после войны через год-другой расправила плечи, то и Михаил, не изменив себе, мог бы стать другим — интеллектуально богаче, разностороннее, образованнее, наконец. Но кто-то должен был быть опорой Пекашину, кто-то должен был подпереть его своим плечом, когда другие ищут теплых мест и начальственных портфелей?

Если бы пресловутая «ограниченность» Пряслина происходила от незначительности, неубедительности социального типажа, можно было бы, как говорится, легко поправить дело. Сел писатель за письменный стол и дорисовал ряд сцен, картин, в которых Михаил представал бы духовно богаче. Но в том-то и суть творческого достижения писателя, что он во плоти и крови создал исторически достоверный характер. «...Я бы причислил Михаила к людям глубоко положительным. А как же? На таких, как он, жизнь держится, земля стоит».

Повезло и тут. Крупнейшие современные художники, удостоившие Федора Абрамова своей дружбы, признали родство образа Михаила Пряслина по своей эпической мощи, по воплощению судеб страны в труднейшее переломное время с Григорием Мелеховым из шолоховского «Тихого Дона».

А вообще ему все-таки отчаянно не везло. Даже родиться угораздило 29 февраля. Любивший дружескую компанию, он считал неловким отметить лишний раз и день рождения, коль тот выпадал один раз на четыре года.

Сегодня ему исполнилось бы семьдесят восемь.

ЛЕОНИД ХАНБЕКОВ,
Москва

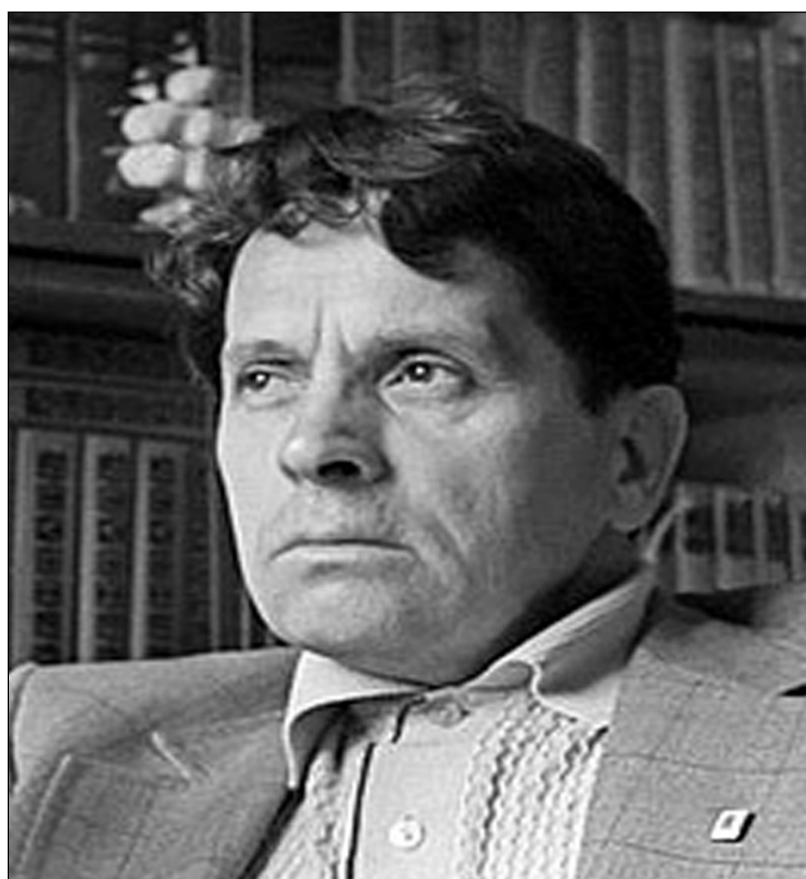
РАТОБОРЕЦ

К 88-летию со дня рождения Федора Абрамова

военной прозе»... Пронзительно честные, горячие, до ошеломительности смелые — вот и попали. Правда, которая переполняла эти заметки, оказалась ненужной. Страсть, которая делала их искусством, отвергала казенные, прошипованные лозунгами лбы... И стали закрывать талантливому критику и публицисту дорогу. Надолго.

Он-то хорошо знал, что отвергал правду бытия северной деревни. Здесь он залечивал фронтные раны. Здесь топтал простреленными ногами, как один из любимых героев — трогательный в своей чистоте и прямоте Иван Лукашин («Братья и сестры»), «Две зимы и три лета», — сельские большаки. Здесь с кровной родней из пинежской деревни Верколы отправлялся на покос и на молотьбу. Здесь без записных книжек впитывал сердцем людские судьбы и исповеди. Но из командных кабинетов виднее было, о чем писать, какую правду защищать художнику.

1954 год. Много ли времени миновало с того дня, как он снял пропотевшую гимнастерку? Всего ничего. Для нынешних недорослей, выпускников Литературного института, обивающих пороги редакций с высосанными из пальца опусами, такие годы улетают, как пыль на ветру, ничего не оставляя после себя. Для Федора Абрамова спрессовались они в окончание прерванной военной учебы в университете, аспирантуру, защиту диссертации по творчеству самого что ни на есть «деревенщика» — Михаила Шолохова — и вот еще в эти злословные, выношенные под сердце заметки, остроты, ядовитые, точные как умель и необходимый хирургический разрез. Не о каких-нибудь безвестных провинциальных сочинителях, которых можно безбоязненно поносить в столичной прессе. (До Бога высоко, до царя далеко! — не пожалуются, на дадут сдачи). А о книгах, известных тогда литераторам, удостоенных Сталинских премий, — о романах Елизара Мальцева «От всего сердца», Галины Николаевой «Жатва» и Семена Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды». Если судить по мальцевскому роману, доказывал неведомый миру молодой ленинградский критик, то единственная трудность, испытываемая колхозом в годы войны, — это косность председателя колхоза. Читин прохиндей всяческие препятствия стахановской работе звеньевой Груни Васильцовой. Если глянуть на жизнь глазами Бабаевского и Николаевой, то легко сделать вывод: всего-то и делов засучить рукава двум трем энтузиастам — и разрушенная, сожженная дотла ку-



бой, своим слогом, искусной терминологической эквилибристикой, вместо того чтобы просто и внятно поговорить о книге товарища, ей-ей не худо бы перечитать. Глядишь, и у кого-нибудь раззуделось бы плечо, размахнулась рука, чтобы не только... стряхнуть пыль с пиджаков литературных генералов!

Не так ли и сегодня порою иные наши маститые литераторы трудную нашу, полную лишений, деревенскую ли, городскую ли жизнь, как новогодною елку, украшают бумажными фонариками да цветными лентами? В новомодных сочинениях своих умудряются насовать таких «действующих лиц», которых и персонажами трудно назвать, не то что героями. Бездействуют они, плывут безмятежно в житейском потоке бытовизма, алчности и пошлости, как будто ушла в погоне за тряпками из жизни вечная драма веры и безверия, словно стихло вечное противоборство чести и бесчестия.

Вот почему я вспомнил статью Федора Абрамова, которой тот открыл дверь в литературу. Вот почему столько говорю о ней. Именно в ней он обозначил свое credo, которому остался навсегда верен: жизни смотреть надо прямо в глаза.

А его — очернитель! Очернителем его назовут еще не раз: за неприязательную, крохотную по нынешним меркам повесть «Вокруг да около» (1963). За второй — «Две зимы и три лета» (1968) и третий — «Пути-перепутья» (1973) романы знаменитой тетралогии «Братья и

сестры», соратников, исповедовавших так же рыцарски, как он, любовь к народу, к отчей земле, скудеющей от нашествия временщиков перекапти-поле, от ретивых спецов по циркулярам.

Публикация повести «Вокруг да около» стоила писателю-фронтовику Сергею Алексеевичу Воронину редакторского поста в «Неве».

Были неприятности и у Александра Трифоновича Твардовского в «Новом мире». Рецензенты «Октября» Строчков и Староверов бросались на писателя и на журнал, взявший удивительно правдивые, народные эпосы на свои страницы. Но разве все это в счет, когда на столе у Федора Абрамова лежало письмо-признание великого нашего поэта: «...Я давно не читал такой рукописи, чтобы человек не sentimentalный мог над нею местами растрогаться до настоящих слез и неотрывно думать о ней при чтении и по прочтении. Словом, Вы написали книгу, какой еще не было в нашей литературе, обращавшейся к материалу колхозной деревни военных и послевоенных лет. Впрочем, содержание ее шире этих рамок — эти годы лишь обнажили и довели до крайности все, скажем так, несовершенства колхозного хозяйства, которые были в нем и до войны, и по сей день не полностью изжиты...»

Федор Абрамов и тогда, в 1963-м, не коллекционировал трудности. Он гневно обличал страусовую позицию сельских руководителей самого разного ранга, что при-

Америка-Россия: Переключки

Яков РАБИНЕР
Нью-Йорк

ЗАКАТ НА ГУДЗОНЕ

Гудзон... и назойливым зуммером
Жужжит вертолёт над рекой.
Закат
Декорирует сумерки
Багряного солнца рукой.
Всё в красках; от алой до палевой.
Сплошным наслажденьем для глаз,
С громадной картиною зарева,
Стоит небоскрёба топаз.
Везуем неба подсвечены

Плывут облака-корабли.
Янтарная капелька
Вечности
Вот-вот —
И коснётся земли.

Зима, как за грехи расплата,
К апрелю только злей и злей.
С бинтами улиц и аллей
Нью Йорк — больничная палата.
Не сдвинуть стужу ни на йоту.
Но вот
В зазор огромных туч
Пролился
Ярко-рыжий луч
И смазал
мир окрестный йодом.

Америка-Россия: Переключки

Игорь МУХИН,
Москва

ПОСПЕШИТЕ С ПРИЗНАНЬЕМ В ЛЮБВИ

Стройный стан в сильной страсти обвив.
Поцелуями жаркими грея,
Поспешите с признаньем в любви -
Вы в любви признавайтесь скорее!
Признавайтесь той самой -
одной,
Все канаты к которой и нити -
Стройной, милой, веселой, родной!
Вы с признаньем в любви поспешите!

Одному признавайтесь скорей-
Коле, Вове, Сереже ли, Вите -
Не топчитесь у чувства дверей:
Прямо в сердце любовью звоните!

Не томите влюбленной души,
Ни себя не гневите, ни Бога:
Дни в любви веселы, хороши...
В жизни их, может, будет немного!
Да не жмите вы на тормоза
(Ведь разлука вас ждет,
может статься!),
А ворвитесь друг к другу в глаза,
Чтоб вовеки уже не расстаться!
Поспешите с признаньем в любви!..

Америка-Россия: Переключки

Владимир ГУТКОВСКИЙ,
Нью-Йорк

ТАНЦУЙ, БЭБИ

Отключившись от сего и вся,
Ничего парнишку не волнует,
Чёрный бой, косичками трясая,
Посреди Манхэттена танцует.
И не надо думать ни о чём,
О проблемах, о насущном хлебе.
Жаль, вот только, я здесь ни при чём.
Танцуй, бэби.
Пялит обалдевшая толпа
На него очки и объективы.
Вот и я не нахожу слова,

Тут не скажешь просто,
что красиво.
А ему уже не до людей,
Ему что они, что птицы в небе.
Он и сам от ритма «прибалдел».
Танцуй, бэби.
Только позавидовать могу.
Чтоб вот так, от Бога,
быть артистом.
На Гудзона людном берегу
Паренёк танцует для туристов.
Ну, снимайте, в профиль и анфас.
Раз живём, да и пошли бы все бы...
И я рядом с ним пускаюсь в пляс.
Танцуй, бэби!

ЮБИЛЕИ